Шнитке о композиторе вспоминают писатель Виктор Ерофеев и дирижер Саулюс Сондецкис

0710.04

Шнитке Альфред

ЗНАКИ ВРЕМЕНИ

Композитор судьбы

Моск. новости – 2004 – 01-07 ... с 26

Виктор ЕРОФЕЕВ

Недавно из окон Шереметьевского аэропорта я случайно увидел новенький «боинг» «Аэрофлота» с надписью на борту: «Альфред Шнитке».

— Вот ты и стал самолетом, Альфред, — сказал я с улыбкой и с ужасом. Я рад, что он стал самолетом, но мне до сих пор не хватает его как человека. Незаменимые люди есть — Шнитке тому пример. О нем легко сказать, что он — гений, потому что другие определения к нему подобрать непросто. Еще задолго до того, как он стал самолетом, в начале восьмидесятых, когда мы познакомились и незаметно подружились, я знал, что он — исключение из человеческих правил, практически уникум. Коллекционировать гениев нынче сложно, живем не в Серебряном веке, но по Шнитке можно судить об этой породе.

Альфред Шнитке — единственный живой гений в моей жизни, с которым я не только дружил, но и работал над совместной оперой. Наверное, главной сущностью его «я» было то, что он постоянно находился на границе двух или нескольких миров и был способен слышать и чувствовать их одновременно. Это не значит, что он жил в земной жизни с отсутствующим видом, но то, что он сопричастен другим измерениям, у меня не вызывало сомнений. Его совиный взгляд сочетал присутствие и отрешенность. Понимая, что он не совсем здесь и не совсем сейчас, он прибегал к исключительной вежливости, чтобы не выглядеть отстраненным и любопытным инопланетянином. Внутренний спор Шнитке с мировым авангардом и преодоление его, переплетение глубокого нонконформизма с глубоким равнодушием к власти, внешне похожим на соглашательство, говорили о том, что гений — брожение идей и состояний, а не их окончательная фиксация. Он был веселее целой толпы разгульных людей, печальнее, чем свежий вдовец, и просветленнее, нежели монастырь с богопослушной оравой монахов. Его предложение сочинить оперу по моему рассказу «Жизнь с идиотом» казалось мне поначалу моцартовским веером легкомыслия. Наша дружба вызывала недоумение у большого количества интеллигентного и либерального народа. Во многом мы были антиподами. Но мы обменялись с ним верой в то, что каждому было дорого: он нашел на дне моей прозы «свет», а я увидел в его «светлости» организованный поток подсознания, в его мудрости — предвечный спор порядка и хаоса. Мы говорили с ним много об истоках творчества и его связях с верой. Он научил меня отличать поиски Бога внутри творчества от поисков Бога эзотерическим путем и отказаться от последнего, если возможно заниматься первым. Он предпочитал любым проискам позитивизма (концептуализм, структурализм) хорошо осмысленную тайну и сильно укрепил мое недоверие к искусству самовыражения. При этом мы немало выпили красного вина, а также коньяка. Он знал толк в еде. При мне он никогда не говорил о людях плохо, даже о тех, кто сделал ему больно, не любил возвращаться к злополучной истории с «Пиковой дамой», но всегда по разговору было ясно, кого он ценит, а кого — нет.

GERRY HURKMANS

Перед премьерой: Борис Покровский, Альфред Шнитке, Виктор Ерофеев, Мстислав Ростропович, Жан Кальман, Илья Кабаков. Амстердам, 1992 год

В политической биографии Шнитке я могу взять на себя ответственность за одно его серьезное решение. Он несколько колебался, не принять ли присужденную ему — на дворе была перестройка — Ленинскую премию. Он рассматривал ее как некую охранную грамоту, но я убеждал его не связывать свое имя с именем вождя революции, и он в конце концов категорично с этим согласился.

«Жизнь с идиотом» он слушал в первый раз в публичной библиотеке на Пушкинской площади, куда пришел вместе с Геннадием Рождественским, вызвав культурный шок своим появлением у молодых людей очередной исторической оттепели, пришедших на мое чтение. После чтения моя жена Веслава сказала Шнитке в полушутку, что в моем рассказе с бешено вращающимися масками любви, упирающейся в смерть, есть основа для оперы. Никто из нас не подхватил темы. Я подумал, что после его работ с текстом «Фауста» и средневековой армянской поэзией все это — крайне неуместно. Через какое-то время он позвонил мне с предложением.

— Это невозможно, — сказал я, польщенный, но сбитый с толку. — Я не представляю себе, кто бы мог написать либретто.

— Вот ты и напишешь, — сказал Альфред.

— Но я никогда не писал либретто, — возразил я, стесняясь добавить, что я вообще не большой друг оперы.

— Именно поэтому у тебя получится хорошее либретто.

Я написал за неделю некую фантазию и отдал ее Шнитке. Тот молчал несколько дней. Я уже решил, что зря взялся за дело, так можно убить не только оперу, но и дружбу. Не вытерпев, я позвонил первым.

— Прочитал?

— Да.

— Ну и как?

— Хорошо.

— Когда начнем вместе работать?

— А зачем? Все уже сделано. Теперь мне надо работать.

Так черновик стал окончательным вариантом. Опера писалась по заказу Амстердамского оперного театра. Пришла пора искать режиссера. Была возможность выбрать кого угодно, из любой страны. Несмотря на нелюбовь к концептуализму, Шнитке принял самое концептуальное решение. Он предложил пригласить режиссера, который, по его словам, сделал триста постановок советских опер. «Жизнь с идиотом» в такой интерпретации озарится новым светом. Но согласится ли старик, Борис Александрович Покровский? Мы отправились к нему на Кутузовский, как два робких, но хитрых школьника, решившие подбить учителя на сомнительный поступок. Покровский встретил наше предложение с нескрываемым подозрением. Шнитке достал ноты, сел за пианино и сам стал петь начальные арии за всех героев и за хор. Это было настоящее чудо, но он быстро «сломался» и стал хохотать буквально до слез над каждым словом, как будто слышал его в первый раз. Заряд юмора в этой опере он почувствовал как никто, и я сам стал давиться от смеха, но от этого коллективного помешательства Покровскому не стало легче. Мне показалось, что он нас сейчас выставит за дверь, решив, что мы издеваемся. Вместо этого он, поразмыслив, взялся за постановку.

// Он был веселее целой толпы разгульных людей, печальнее, чем свежий вдовец, и просветленнее, нежели монастырь с богопослушной оравой монахов //

Альфред заканчивал оперу, уже живя в Гамбурге. Как-то, будучи в гостях, я взял в руки «Московский комсомолец» и прочитал сообщение о том, что он умер. Я застыл с газетой. Умер друг, и с другом умерла моя мечта — наша опера. Позже выяснилось, что это — вранье. Однако тот, третий по счету, инсульт нанес Альфреду страшный удар — никто не верил, что он завершит оперу. Однако, едва оправившись, он ее дописал. Финал вышел совсем не похожим на всю остальную оперу — так можно писать, только на время вернувшись «оттуда» и осознав соотнесенность мгновения и вечности.

В Амстердаме зеленели деревья вдоль каналов. Стояла весна 1992 года — скоро премьера. В российской звездной команде сценографом был Илья Кабаков, дирижером — Мстислав Ростропович. В тот момент я почувствовал фантастическую мощь русского искусства — было странно, до какой степени власть и история страны не соответствуют ей. Я сказал Ростроповичу, что в одном месте либретто текст испорчен неверной перепечаткой — могу ли я его подправить без того, чтобы просить Шнитке изменить несколько музыкальных тактов. Ростропович посоветовал мне переправить слова, сохранив ударения — тогда он сам справится с музыкальной переработкой. Наутро я нашел его в сильном волнении.

— Слушай, — развел он руками и скривил, как он это умеет, рот, — у меня ничего не получилось. У него так все связано, от начала до конца!

Весь театр стоял на ушах — с трепетом ждали необычной премьеры. Альфред приехал, больной и далекий, но требовательный к себе и ко всем. Мы пришли к нему с Ростроповичем, жались-мялись: сможешь ли переделать? Альфред посмотрел на нас как на сумасшедших:

— Но для этого надо переделать пол-оперы! Альфред возился над переделкой три дня. Ростропович, получив назад партитуру, снова скривил рот:

— Гений.

После первого отделения королева Голландии давала прием с шампанским. Когда я подошел к ней, она сказала:

— Мсье Виктор, ваша опера слишком крута для меня.

— Ваше Величество, — ответил я, — второе отделение будет еще круче.

Овация на премьере длилась 35 минут. Королева встала первой. «Это, возможно, из вежливости, — сказал негритянский певец Ховард Хаскин, певший партию Идиота, но выучивший всю оперу по-русски. — Это, может быть, из вежливости. Посмотрим, что будет на втором представлении». После него овация длилась 40 минут. Неуверенно стоя на сцене, похудевший, сгорбленный, поседевший, Шнитке с совиным удивлением смотрел в зал на вакханалию своего успеха. Он еще не превратился в самолет, но уже полуотсутствовал в трехмерном пространстве. Он не был в жизни баловнем судьбы, однако судьба распорядилась так, что он стал ее композитором — композитором мировой, национальной и своей частной судьбы. МН